УДК 82

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ» ГОГОЛЯ В ПОЭЗИИ БРОДСКОГО

© 2014 г.

М.М. Гельфонд

НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород

gmma@mail.ru

Поступила в редакцию 05.05.2014

Рассматривается рецепция И.А. Бродским «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя. В ходе анализа поэмы «Горбунов и Горчаков» и циклов «Часть речи» и «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» выявляются особенности преломления прозаического слова Н.В. Гоголя в поэтическое слово И.А. Бродского. Типология героев поэмы И.А. Бродского соотносится с типологией гоголевских героев.

Ключевые слова: Бродский, «Горбунов и Горчаков», «Часть речи», Гоголь, «Петербургские повести», петербургское безумие, рациональный и иррациональный герой, типологические пары.

Постановка проблемы «Гоголь и Бродский», на первый взгляд, представляется неожиданной. По словам Риты Джулиани, «ставить в один ряд Гоголя и Бродского как-то странно, <…> если принять во внимание разделяющие их десятилетия, культурную почву, на которой они выросли, пройденный путь, взгляды на жизнь и искусство» [1]. В ее работе основанием для сопоставления становится «римский текст» Гоголя и Бродского, но сфера пересечений их художественных миров значительно шире. Так, Л.В. Лосев, комментируя собрание стихотворений и поэм И.А. Бродского, отмечает в них две гоголевские реминисценции из «Записок сумасшедшего» [2, с. 599, 614], а Л.М. Баткин в статье «Парапародия как способ выжить» рассматривает «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» как своеобразную вариацию этой гоголевской повести (при этом необходимо отметить, что статья носит более эссеистический, нежели научный характер) [3, с. 101–109]. Осознание частностей позволяет поставить вопрос о том, каким же образом реализуется текст «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя в творчестве И.А. Бродского. Одновременно с этим возникает и другой, а именно: как *прозаическое слово* Гоголя, стремящееся за рамки прозы, пересоздается и переосмысливается в *поэтическом мире* Бродского, который в свою очередь тяготеет к прозе.

По утверждению С.Г. Бочарова, «русская литература открыла особый национальный феномен *петербургского безумия:* так можно определить явление, образовавшее в нашей литературе целый сквозной сюжет – от «Медного всадника» до «Петербурга» Андрея Белого» [4, с. 361]. Включенность многих произведений И.А. Бродского в этот ряд очевидна: так, непосредственно связаны с ним стихотворения «Новый год на Канатчиковой даче», «С грустью и нежностью», поэма «Горбунов и Горчаков», косвенно – циклы «Часть речи», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» и некоторые другие тексты. Отметим, что большинство из названных произведений соотносятся не с сюжетом *петербургского безумия* как такового, но, если можно так выразиться, с его *гоголевскими обертонами*, причем особенно значимыми для Бродского повестями становятся «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего». Что определило этот выбор? Почему именно эти повести оказались в центре его внимания?

Говоря о «перерастании безумной темы (безумия как темы) в безумный текст» [4, с. 369], С.Г. Бочаров приводит в качестве примера «Двойник» Ф.М. Достоевского. Однако «Записки сумасшедшего» в этом контексте не менее значимы. Более того, это, насколько нам известно, первый в русской литературе *безумный нарратив*, текст, в котором, по словам Ю.В. Манна, «особая форма нарушения объективной системы действия» связана с формой «Ich-Erzahlung» [5, с. 107]. «Перспективная проекция» этого гоголевского текста на русскую литературу первой половины XX века досконально изучена в статье А.С. Янушкевича [6]. Анализируя рецепцию гоголевской повести в произведениях И.А. Бунина, Е.И. Замятина, Д. Хармса, М.А. Булгакова, М.М. Зощенко, Н.А. Заболоцкого, он приходит к такому выводу: «Отзвуки «Записок сумасшедшего» в мире русской литературы 1920-1930-ых годов выразили самосознание эпохи абсурда и антибытия» [6, с. 210]. При этом практически во всех описанных А.С. Янушкевичем случаях рецепция

Гоголя осуществляется в рамках прозаического высказывания (в том числе и от первого лица – в антиутопии Е.И. Замятина «Мы», дневниковых записях «Окаянные дни» И.А. Бунина). Однако в большинстве случаев это прозаическое высказывание, обладающее высоким поэтическим потенциалом, исповедальностью. Единственный же случай собственно поэтической рецепции – стихотворение Н.А. Заболоцкого «Поприщин» (1928) – как раз предполагает отказ от формы лирического «я»: герой здесь осмыслен как объект, но не субъект лирического высказывания, как фантом, порожденный гоголевской творческой волей: «Когда замерзают дороги / И ветер шатает кресты, / *Безумными пальцами Гоголь/ Выводит горбатые сны»* [7, с. 366–367] (курсив здесь и далее наш – *М.Г.*). Самоубийство Поприщина, которым Н.А. Заболоцкий завершает гоголевский сюжет, оказывается знаком эпохи: новый «маленький человек» неспособен противостоять нарастающему безумию времени.

В 1960–1970-е годы тема «петербургского безумия» выходит на новый виток: маргинальное сознание многих представителей «второй» или «неподцензурной литературы» с государственной точки зрения представляется безумием, а в некоторых трагических случаях (история Рида Грачева, по предположению Л.В. Лосева, отразившаяся в «Горбунове и Горчакове» [2, с. 512]), действительно, оказывается им. Так гоголевская повесть обнаруживает новые смыслы. В частности, говоря о ее сильнейшем воздействии на Бродского, мы можем предположить, что оно связано с его собственным опытом пребывания в психиатрической лечебнице – на Канатчиковой даче в Москве (декабрь 1963 – январь 1964), а затем на Пряжке в Ленинграде (февраль 1964). По словам биографа поэта, «оба пребывания Бродского в психиатрических лечебницах не были формой наказания. Оба раза Бродский проходил обследование, поскольку его друзья, близкие, его адвокат полагали, что установленный диагноз душевного расстройства поможет спасти его от ареста, суда и приговора. Таким образом, у молодого поэта, который, действительно, отличался в те годы повышенной эмоциональной возбудимостью, не было в периоды пребывания в скорбных домах той нравственной опоры, которая помогала выдержать ужасы карательной психиатрии будущим диссидентам, он, действительно, мог временами сомневаться в своем душевном здоровье» [8, с. 140–141]. Впоследствии Бродский неоднократно называл мучения, перенесенные на Пряжке, самым тяжелым временем в своей жизни. «Средневековые пытки» (Л.В. Лосев), которым он подвергался, обнаруживают исключительное сходство с описанными у Гоголя: «Ну, представьте себе: вы лежите, читаете – ну там, я не знаю, Луи Буссенара – вдруг входят два медбрата, вынимают вас из станка, заворачивают в простынь и начинают топить в ванной. Потом они из ванной вас вынимают, но простыни не разворачивают. И эти простыни начинают ссыхаться на вас. Это называется «укрутка». Вообще было довольно противно. Довольно противно…. Русский человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что дурдом лучше, чем тюрьма» [9, с. 72]. Сопоставим этот рассказ с последней записью Поприщина: «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук моих, голова горит моя, и все кружится передо мною» [10, с. 193]. Эта запись датирована февралем, но как бы вывернутым наизнанку: слово записано в зеркальном отражении рядом с числом 349. Пребывание Бродского на Пряжке также пришлось на февраль; в стихотворении «С грустью и нежностью» (1964) – вероятно, наброске будущей поэмы «Горбунов и Горчаков», посвященном реальному знакомому Бродского – А. Горбунову, появляются такие строчки: «Февраль всегда идет за январем, / а дальше – март» [2, с. 169]. Помимо фиксации реального времени здесь можно увидеть и реминисценцию из «Записок сумасшедшего»: «Январь того же года, случившийся после февраля» [10, с. 192]. Действие поэмы «Горбунов и Горчаков» неслучайно отнесено ко времени Великого Поста, однако в первых ее главах внимание постоянно акцентировано на *феврале* и *последовательности* месяцев, оба героя всеми силами стремятся восстановить ход времени как необходимую норму бытия и соотнести себя с ней: «Вторая половина февраля/ отмечена уходом Водолея» [2, с. 219], «Февраль идет на смену январю» [2, с. 222], «Вторая половина февраля./ Смотри-ка, что показывают стрелки» [2, с. 228].

В том же стихотворении впервые появляется в качестве упоминаемого персонажа и пациент Мицкевич. Вероятно, в общем контексте «петербургского безумия» эта фамилия не случайна: во-первых, она отсылает читателя и к пушкинской эпохе в целом (та же роль у фамилии Горчакова), во-вторых, к судьбе польского поэта (арест и тюремное заключение). Но возмо-

жен и третий – гоголевский – контекст: повесть «Невский проспект», эпизодические герои которой – Шиллер и Гофман, но «не тот Шиллер, который написал "Вильгельма Телля" и "Историю тридцатилетней войны"» и «не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера» [10, с. 34]. Герой поэмы по аналогии с ними – Мицкевич, но *не тот*, не поэт Мицкевич; литературность ситуации усиливается и паронимичностью фамилий сходных и вместе с тем полярных героев поэмы – Горбунова и Горчакова.

Существует несколько гипотез, проясняющих соотношение главных героев поэмы Бродского. Так, по мнению К. Проффера, «Горбунов и Горчаков» «представляет собой платоновский идеал диалога, диалога в самой своей сути, в добытийной чистоте», «два голоса говорят о вечном человеческом одиночестве и страдании» [11, с. 138]. Л.В. Лосев полагает, что два героя являются «персонификацией двуполушарной структуры головного мозга», а различие в датах рождения героев объясняет тем, что «человеческий мозг начинает оформляться за три месяца до рождения» [8, с. 144]. Вместе с тем можно предположить, что два героя развивают и уточняют тему петербургского двойничества, заданной в близких параметрах вариативности характеров и судеб. И в этом плане пара Горбунов и Горчаков отчетливо соотносится с героями Гоголя – высеченным пошляком Пироговым и гибнущим мечтателем Пискаревым.

Носитель «прозаической» фамилии Горбунов по преимуществу логик: он развивает сложные построения, но сны его чрезвычайно бедны: «Мы, ленинградцы, видим столько снов, / а ты никак из этого, грибного, / не вырвешься» [2, с. 217]. Его попадание в дом скорби связано не только с повторяющимся сном, но и с семейной драмой, преодолеть которую он силится логическим усилием: «Проблему одиночества вполне / Решить за счет раздвоенности можно» [2, с. 222]. Поэтический же Горчаков, напротив, подобно Пискареву, погружен в мир сложных сновидений: дискретность которых воссоздает мир гоголевского художника: «Скажи мне, Горчаков,/ А что вам, ленинградцам, часто снится?»/ «Да как когда… Концерты, лес смычков,/ Проспекты, переулки, просто лица./ (Сны состоят как будто из клочков») [2, с. 217]. Сравним это описание со сном Пискарева из «Невского *проспекта*»: «На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами – и *освещенная перспектива домов с яркими вывесками* понеслась мимо каретных окон.… Казалось, какой-то демон *искрошил весь мир на множество разных кусков* и все куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и *толстый контрабас*, выглядывавший из-за перил великолепных хоров – все было для него блистательно» [10, с. 38]. Как и Пискареву, сны заменяют Горчакову реальную жизнь: «Ведь эти сновиденья только средство/ Ночь провести поинтересней». «Как?!»/ «Чтоб ночью дня порастрясти наследство» [2, с. 217]. Сравним у Гоголя: «Наконец сновидения сделались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. <…> Он оживлялся только при наступлении ночи» [10, с. 39]. Сон, вытесняющий явь, становится признаком не только безумия, но и иного бытия – осмысленного и наполненного, в отличие от реального (отметим еще, что сон в обоих случаях является неестественным, медикаментозным).

Очевидно, что в поэтическом контексте «Горбунова и Горчакова» соединяются мотивы и «Невского проспекта», и «Записок сумасшедшего». Сам лирический нарратив здесь создается за счет соединения «я»-высказывания безумного героя и диалогичности паронимических персонажей. Так гоголевское слово приобретает дополнительный лирический потенциал: это слово героя *о другом* и о себе, отраженное зеркальным словом его собеседника: «Как странно Горчакову говорить / Безумными словами Горбунова!» [2, с. 225]. Монологическое высказывание перерастает в полифоническое. (Л.В. Лосев, анализируя поэму, справедливо усматривает в ней не непосредственное влияние теории М.М. Бахтина, но «витавшие в воздухе идеи диалогизма» [8, с. 144]).

Полифонизм сознания реализуется не столько за счет двухголосия героев поэмы, сколько за счет сложности сознания каждого из них. Если гоголевский Поприщин воплощает собой движение от носителя стереотипных представлений, инспирированных «Северной пчелой» [12], к «романтическому герою-мечтателю, рыцарю и поэту непонятного чувства» [13, с. 45], то герои Бродского соединяют их в себе как бы на разных уровнях сознания и в разных речевых жанрах. Высокие откровения («В словах я приобщаюсь бытия!») соседствуют здесь с доносами («Ну, Горчаков, давайте ваш доклад». «О Горбунове?». «Да, о Горбунове». «Он выражает беспартийный взгляд.…») и бесконечными беседами об ужине («Ты ужинал?» «Я ужинал. А

ты?» «Я ужинал». «И как тебе капуста?»). Последний диалог, в свою очередь, напоминает об обостренном обонянии Поприщина, отразившемся в его записи: «Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской» [10, с. 178].

Передача этого многоголосья *разным* (не всегда названным героям) происходит в цикле «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», непосредственно отсылающем читателя к «Запискам сумасшедшего». В X сонете читаем: «Сегодня, превращаясь во вчера,/ себя не утруждает переменой/ пера, бумаги, жижицы пельменной, / *изделия хромого бочара* / *из Гамбурга»*. В лирический контекст цикла Бродского попадает запись, сделанная Поприщиным уже во время его пребывания в сумасшедшем доме (или, как он полагает, в Испании): «Луна ведь обыкновенно делается в *Гамбурге* и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. *Делает ее хромой бочар*, и видно, то дурак, никакого понятия не имеет о луне». Запись Поприщина – свидетельство протеста против нелепости мироустройства: весь мир кажется ему рукотворным и в то же время сделанным неправильно. Близкое состояние овладевает и лирическим героем Бродского, более того, он словно бы переживает комплекс, присущий Поприщину: катастрофическое чувство любви, доводящее до безумия, отделяет его от обывательского сознания, позволяет взглянуть на происходящее со стороны [10, с. 191]. Отделенное же от лирического «я» многоголосье Гленкорнов и Дугласов оказывается чрезвычайно близким к речевой манере Поприщина до фиксации его безумия: это перевод политических событий на язык обывателя и «желтой прессы»: «Эка глупый народ французы!» [10, с. 176] «Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании» [10, с. 186], «Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава» [10, с. 189], «Когда Англия нюхает табак, то Франция чихает» [10, с. 190]; «Мари, шотландцы все-таки скоты» [2, с. 348], «Представьте, как рассердятся в Париже»/ «Французы? Из-за чьей-то головы?/ Вот если бы ей тяпнули пониже» [2, с. 352].

Обращение к «Запискам сумасшедшего» всегда связано у Бродского с темой трагической любви как истока безумия. Так, первая строка лирического фрагмента «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», открывающего цикл «Часть речи», отсылает к датировке одной из поприщинских записей: «мартобря 86. Между днем и ночью» [10, с. 188]. Окказионализм Гоголя фиксирует остановившееся и вместе с тем бесконечно длящееся время, причем освобождение Поприщина от пут примитивного, обывательского сознания совершается как раз благодаря его выходу за пределы линеарности во вневременн*ую* реальность: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое» [10, с. 190]. У Бродского это впечатление усиливается, благодаря еще одному окказионализму – «надцатого», сохраняющему грамматическую форму, но утрачивающему сущность числительного. Герой стихотворения Бродского, оказавшийся в ином временн*о*м измерении и ином по отношению к возлюбленной полушарии, словно бы воплощает своей судьбой ситуацию Поприщина (тот, находясь в доме скорби, полагает, что он в Испании). Тема лишения свободы, ночного безумия, тоски по возлюбленной, потери слова разворачивает лирический потенциал последних записей гоголевского героя. Так, образ морей без «конца и края» соотносится с его последней записью: «Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют» [10, с. 193]. Так лирический фрагмент Бродского предстает своего рода продолжением гоголевского безумного нарратива, и это впечатление подтверждается названием цикла «Часть речи». Внутренний запрет на высказывание, глубоко переживаемый Поприщиным («…ничего, ничего…. молчание» [10, с. 178]), снимается, когда в финале безумный герой обретает подлинное слово, – но оно становится последним.

Таким образом, безумный нарратив гоголевского персонажа преломляется в поэзии Бродского в прямое лирическое и вместе с тем полифоническое высказывание. Исключительный опыт преследования, трагической любви и безумия героев Гоголя, еще несущих на себе отпечаток высоких романтических страстей, оказывается в поэзии Бродского тем рядовым, обыкновенным опытом, которым наделен его лирический герой – рядовой XX века, «совершенный никто, человек в плаще» [2, с. 343].

Список литературы

1. Джулиани Р. «Поговорим о Риме: Николай Гоголь и Иосиф Бродский // Toronto Slavic Quarterly, № 30, 2009. http://www.utoronto.ca/tsq/30/index30.shtml (дата обращения: 21.04.2014).

2. Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы: в 2 т. Т.1. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, Вита Нова, 2011.655 с.

3. Баткин Л.М. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М.: РГГУ, 1997. 331 с.

4. Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007. 367 с.

5. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М.: Худож. лит, 1988. 414 с.

6. Янушкевич А.С. «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя в контексте русской литературы 1920–1930-х годов // Поэтика русской литературы. К 70-летию профессора Ю.В. Манна. Сборник статей. М.: РГГУ, 2002. С. 193-215.

7. Заболоцкий Н.А. Полн. собр. стихотворений и поэм. Избранные переводы. СПб.: Академический проект, 2002. 768 с.

8. Лосев Л.В. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М.: Молодая гвардия, 2006. 448 с.

9. Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998. 441 с.

10. Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М.: Гос. изд. худож. лит. 1959. 324 с.

11. Проффер К. Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского «Горбунов и Горчаков» // Поэтика Бродского. Под ред. Л.В. Лосева. Tenafly, New Jersey: Эрмитаж, 1986. С.132-140.

12. Золотусский И.П. «Записки сумасшедшего и «Северная пчела» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1976. Т.35. №2. С.144–154.

13. Маркович В.М. Избранные работы. СПб.: «Ломоносовъ», 2008. 320 с.

GOGOL'S «ARABESQUES» IN THE POETRY OF BRODSKY

M.M. Gelfond

The article contains the analysis of Josef Brodsky's reception of Gogol's «Arabesques». Considering the poem "Gorbunov and Gorchakov" and circles "The Part of Speech" and "Twenty sonnets to Mary Stuart" the features of transformation the prosaic word of Gogol into the poetry word of Brodsky are revealed. The typology of Brodsky's heroes is sorted with Gogol's characters.

Keywords: Brodsky, "Gorbunov and Gorchakov", 'The Part of Speech", Gogol, «Arabesques», the madness of Petersburg, rational and irrational heroes, typological pares.

References

1. Dzhuliani R. «Pogovorim o Rime: Nikolay Gogol' i Iosif Brodskiy // Toronto Slavic Quarterly, № 30, 2009. http://www.utoronto.ca/tsq/30/index30.shtml (data obrashcheniya: 21.04.2014).

2. Iosif Brodskiy. Stikhotvoreniya i poemy: v 2 t. T.1. SPb.: Izdatel'stvo Pushkinskogo Doma, Vita Nova, 2011.655 s.

3. Batkin L.M. Tridtsat' tret'ya bukva. Zametki chitatelya na polyakh stikhov Iosifa Brodskogo. M.: RGGU, 1997. 331 s.

4. Bocharov S.G. Filologicheskie syuzhety. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2007. 367 s.

5. Mann Yu.V. Poetika Gogolya. M.: Khudozh. lit, 1988. 414 s.

6. Yanushkevich A.S. «Zapiski sumasshedshego» N.V. Gogolya v kontekste russkoy literatury 1920–1930-kh godov // Poetika russkoy literatury. K 70-letiyu professora Yu.V. Manna. Sbornik statey. M., RGGU, 2002. S. 193–215.

7. Zabolotskiy N.A. Poln. sobr. stikhotvoreniy i poem. Izbrannye perevody. SPb.: Akademicheskiy proekt, 2002. 768 s.

8. Losev L.V. Iosif Brodskiy: Opyt literaturnoy biografii. M.: Molodaya gvardiya, 2006. 448 s.

9. Volkov S. Dialogi s Iosifom Brodskim. M.: Nezavisimaya gazeta, 1998. 441 s.

10. Gogol' N.V. Sobr. soch.: v 6 t. T. 3. M.: Gosud. izd. khudozh. literatury. 1959. 324 s.

11. Proffer K. Ostanovka v sumasshedshem dome: poema Brodskogo «Gorbunov i Gorchakov» // Poetika Brodskogo. Pod red. L.V. Loseva. Tenafly, New Jersey: Ermitazh, 1986. S.132–140.

12. Zolotusskiy I.P. «Zapiski sumasshedshego i «Severnaya pchela» // Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka. 1976. T.35. №2. S.144–154.

13. Markovich V.M. Izbrannye raboty. SPb.: «Lomonosov"», 2008. 320 s.